

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ТОПОРОВ:
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

ЗНАК И ТЕКСТ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

В. Н. Топоров

Публикация М. Д. Дынина (Москва) и Т. В. Цивьян (Москва)

От публикаторов

...А время гонит лошадей. Десять лет прошло после смерти Владимира Николаевича Топорова (1928–2005), и в его архиве «всплыл» текст необычного для ВН жанра: устное выступление-рассказ о себе самом. 25 страниц, написанных четким почерком почти без помарок, без обычных вставок на обороте – и без указания даты. Такая «анонимность» для ВН была правилом, а публикаторов ставит в сложное положение. Где, перед кем, когда было это выступление и состоялось ли оно вообще? ВН выступал крайне редко. Можно думать, что оно предназначалось для заседания Отделения литературы и языка РАН. Тогда *terminus post quem* 1990 г. (избрание ВН академиком), а *terminus ante quem* определяется по упоминаемым им работам, вышедшим и не вышедшим из печати: не позже 1995 г. (см. наше прим. в конце). Строго говоря, перед нами развернутый *curriculum vitae*. Существует написанный ВН гораздо позже и гораздо более краткий текст под таким названием: он датируется 2004–2005 г. (надежная датировка, хотя также только по косвенным данным)¹. Показательно, что поздний текст несет на себе отпечаток «прецедента», поскольку – как и здесь – включает воспоминания детства и юности, описание советской жизни и подчеркнуто бескомпромиссное к ней отношение, когда «силу

¹ *Curriculum* и отрывки из публикуемого здесь текста см. теперь: Григорян, Завьялова, Цивьян 2015.

давало лишь твердое, с самого начала, знание, что перед тобой великое зло и великая ложь и что до поры можно пребывать в молчании, в тени, но примирения с этим быть не может».

В публикуемом тексте² отразилась типическая черта, свойственная манере письма ВН: вступление к теме преобладает над самой темой и, разворачиваясь вглубь и вширь, открывает иные горизонты.

Так и здесь: описание собственных штудий (формальная цель выступления) в конце концов сокращается до их перечисления³. Круг интересов ВН был почти безбрежен, говорить об этом излишне, для представления о нем достаточно обратиться к изданной в 2006 г. библиографии (см.: Топоров 2006).

Научная мысль ВН было посвящена, подчинена **слову**.

Так и здесь: **слову-логосу** отдана почти половина текста. Перефразируя поэта, *слово довлеет мыслям и чувствам его по старинному праву*.

ЗНАК И ТЕКСТ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

Я впервые выступаю здесь и поэтому в первых же словах хочу поблагодарить за возможность выступить в этом собрании. Вторая моя потребность – принести извинения за тему объявленного выступления: она, конечно, превышает мои возможности и по существу и в отношении к реальным условиям. Поэтому прошу понимать эту не вполне добровольную формулировку темы только в двух ограничительных смыслах. Во-первых, она указывает широкую сферу, внутри которой, действительно, сосредоточиваются основные интересы моих работ; но, разумеется, охват этой темы в моих сочинениях очень частичен и выборочен, не говоря уж о том, что я не смею судить, насколько удачно я выполняю свою задачу. Во-вторых, все-таки существует и более напряженный

² Нами были исправлены явные описки, раскрыты сокращения (в угловых скобках) и сохранены шрифтовые выделения (подчеркивание, курсив, разрядка).

³ Но, по мнению французского исследователя, l'énumération est un cas limite de la description.

и, я бы сказал, ответственный аспект объявленной темы, чем предыдущий. Он состоит в том, что эта тема позволяет подобно обручу скрепить разнообразие занятий и интересов, не потерять ощущение некоего внутрь, в глубину идущего движения, которое только и позволяет подчинить гетерогенность и центробежность единству, целостности, центростремительности. Сказанное здесь никак не то, что характеризует сами мои работы и тем более меня как их автора, но скорее мое представление о том, какими они могли бы быть в некоем идеальном пространстве. Сам же я хорошо знаю, по крайней мере в общем, каковы трудности и соблазны, подстерегающие сейчас того, кто предпочитает риск широты и открытости гарантиям, которые сулит специализация и связанная с нею замкнутость; знаю, какова плата за такие посягательства. Я сознаю теперь, с высоты сегодняшнего дня, что многое было сделано не так, как следовало бы, а за иное вообще не стоило приниматься. Должен признаться, что порой слишком щедро доверялся случаю, открывавшейся возможности и что ощущение некоей объединяющей идеи в моих занятиях пришло очень не сразу. Но когда оно пришло, вкристаллизовался определенный образ пути (т. е., как нередко бывает, следствия преформировали причину, якобы предшествующую им). О конце этого пути не мне судить, но о начале его, как я его себе представляю, скажу несколько слов, будучи готов к упрекам в нескромности. Об этом начале, исходном импульсе я мог бы сказать словами поэта – „тоска по мировой культуре”, но и добавить при этом – лицезрение унижения, поношения и разорения русской культуры как неотчуждаемой части мировой культуры. Я счастлив, что одно из первых моих воспоминаний – погруженный во тьму храм Христа Спасителя (готовя злодеяние, позаботились о том, чтобы фонари вокруг не горели); я еще видел и величественные, но уже обреченные храмы Успения на Покровке и Николы на столпах в Армянском, и особенно хорошо помню скромную церковь Флора и Лавра на Мясницкой, с которой для меня так много было связано⁴. Я счастлив, что помню людей, сложившихся

⁴ В этой церкви ВН был крещен.

до революции и носивших в себе что-то такое, чего после днем с огнем сыскать было невозможно. Счастлив, что помню русский язык, старомосковскую речь, главное в которой была внутренняя свобода, равное согласие с совестью и с мыслью, не заданной как блок, уже не раз бывший в употреблении, а складываемой в союзе с естественным движением речи, с л о в а. Наконец, я счастлив, что помню Москву первой половины 30х годов в целом – с ее храмами, домами, бульварами, людьми, звуками, запахами, красками. Я и сейчас, подобно йогу, прошедшему опыт отключения органов чувств, могу ходить по Москве и не видеть и не слышать то, что обезобразило ее, но переживать ее такой, какой помню ее с раннего детства. Напомнив о том положительном, что вынес я из той поры, не буду говорить о последующем отрицательном опыте. Он лучше известен, и каждый, кто хочет, восстановит целую картину, если скажу, что порог Московского университета я переступил впервые через две недели после постановления об Ахматовой и Зощенко. А дальше – *И не единого удара не отклонили от себя*⁵. Силу давало лишь твердое, с самого начала, знание, что перед тобой великое зло и великая ложь и что до поры можно пребывать в молчании, в тени, но примирения с этим быть не может.

* * *

Возвращаясь к теме своего выступления, скажу, что она даст мне возможность в самом кратком виде изложить некоторые направления моих занятий, и, по моему мнению, это – лучшее, чем я могу заплатить своим слушателям за внимание. И последнее разъяснение. Я знаю, что многие, даже очень почтенные и доброжелательные люди, относятся к словам „знак” или „текст” предвзято, как к соблазну, исходящему чуть ли не от лукавого. Я обращаюсь к здравому смыслу и доброй воле „неприемлющих”. В последние десятилетия стало особенно ясно, как лавинообразно

⁵ Неточная цитата из третьей строфы стихотворения А. А. Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю...» (1922).

нарастает сфера явлений, которые нечто значат или могут значить. Все они имеют общее между собой – как минимум: способность нечто означать и средство для реализации этой способности. Вот это общее и позволяет объединить звук, букву, число, цвет, форму, запах, вкус, определённые движения, материальные символы и т. п. в понятие знака. Поскольку разные знаки вступают в связь друг с другом в разных совокупностях, реализующих некий общий смысл, мы должны отдавать себе отчет в смысловой структуре каждого конкретного знака и в его роли в целом смысла. Даже элементарные соображения экономии не позволяют нам пренебрегать этим понятием. И другое. Знаки – покровители и защитники человека перед лицом аморфной среды лишённого значения, но исполненного агрессивности как всё, связанное с энтропией, хаоса. Это – внешняя функция знака, и она охранительна. Но есть и внутренняя функция знака – зиждательная и творческая. Наше сознание, наша мысль живут и возрастают знаковой „пищей”, ее переработкой и постоянным соотношением знака с беззнаковой средой, тем не менее просвечиваемой знаком, и в той мере, в какой она просвечивается, отрываемой от хаоса и вовлекаемой в сферу знакового. Но по отдельности знаки употребляются редко. Это неэкономно, и такую роскошь человек может позволить себе обычно только в экстремальных ситуациях – последний крик о помощи (SOS) или категорический запрет, нарушение которого приводит к необратимым последствиям („Опасно для жизни”, изображение черепа и т. п.). Самая экономная, целесообразная и открывающая наиболее далекие перспективы форма существования знаков – текст, ими формируемый и семантически ориентируемый. Но сам текст, достигнув определенного порога сложности, „заражается” смыслом, который больше, чем сумма составляющих его знаков и их частных значений. Создается ситуация, свойственная всем достаточно сложным системам, и текст, зависящий от знаков, начинает влиять на них, трансформировать их. Как в мифологических схемах нет противоречия между утверждениями „А порождает В” и „В порождает А”, так нет противоречия и в том, что знаки

порождают текст, а текст – знаки, что и то и другое – причина и следствие одновременно, и размежевание их в конкретных обстоятельствах зависит от положения того, кто описывает ситуацию; что случай необходим, а необходимость случайна и т. п. Это сгущение антиномий и парадоксов само по себе уже есть указание на сложность ситуации, на ее творчески-плодоносный характер, на то, что именно здесь источник новых энергий и новых смыслов. Так понимал человека Достоевский, и поэтому он по праву завершает ряд великих естествоиспытателей прошлого – Линней, Бюффон, Кювье, Сент-Илер – как создатель художественной антропологической системы.

Итак, подлинная жизнь знака – в тексте, но эта жизнь не беззаботная, а ответственная, предполагающая бодрствование и готовность к динамическим решениям. Начиная снизу, с фундамента, знак как бы предвидит завершенное целое, подстраивается к нему, стремится по мере сил контролировать его, зная, однако, что есть ситуации, когда текст как целое, пользуясь своим „сенаторским” правом, может объявить себя знаком знаков, знаком по преимуществу, лишив составляющие его знаки части их законных прав. Рожденный знаками и с помощью знаков, текст так организует и перераспределяет их, что становится подлинным творцом нового модуса существования знака – не в парадигме, а в синтагме. Поэтому подлинно великий текст подобен растущему дереву, корни которого внизу, в земле, в прошлом, ствол посередине, в настоящем, как бы остановившемся времени, а ветви – вверху, в незамкнутой открытости, в обращенности к будущему. Этот последний аспект часто игнорируют. Поэтому нужно особенно подчеркнуть, что текст не только и не столько угадывает это будущее, сколько творит его и, если это великий текст, творит его бесконечно и неисчерпаемо.

Вы можете вместо слов „знак” и „текст” поставить другое слово – с л о в о, ибо слово в его высших проявлениях всегда и знак и текст. Оно сырье, материал, субстрат филологии, но и ее высшая цель. У филологии нет ни одной функции, ни одной задачи, которая не выводилась бы из особенностей слова. Но слово и больше филологии, потому что оно увлекает нас и за ее пределы,

Кюбье, Сент-Илер — как создатель художественной антропологической системы.
 Знак, поднимая тему знака — в тексте, но эта тема не беззаботная, а ответственная, предполагающая бодрствование и готовность к динамическим решениям. Начиная снизу, с фундамента, знак как бы предвизит завершённое целое, подстраивается к нему, стремится по мере сил контролировать его, знала, однако, что есть ситуации, когда текст как целое, используя своим «секторским» правом, может объявить себя знаком знаков, знаком по отношению к миру, лишь составляющие его знаки части их законных прав. Рождённый знаками и с помощью знаков, текст так организует и перераспределяет их, что становится подлинным творцом нового модуса существования знака — не в парадигме, а в синтагме. Поэтому подлинно великий текст подобен растущему дереву, корни которого внизу, в земле, в прошлом, ствол посередине, в настоящем, как бы осязаем, а ветви — вверху, в неопределённой открытости, в обращённости к будущему. Этот последний аспект часто игнорируют. Поэтому нужно особенно подчеркнуть, что текст не только и не столько улавливает это будущее, сколько творит его, и, если это великий текст, творит его бесконечно и неисчерпаемо.

Вы можете вместо слов «знак» и «текст» поставить другое слово — слово, ибо слово в его высших проявлениях всегда и знак и текст. Оно само материал, субстрат информации, но и его высшая цель. У филологии нет ни одной функции, ни одной задачи, которая не выводилась бы из особенностей слова. Но слово и больше филологии, потому что оно увлекает нас и за ее пределы, в пространства столь разной структуры, как, например, вся сфера гуманитарных наук, ближайшим образом ориентированная на слово или, по крайней мере, переводимая на слово; вся сфера человеческого знания, поскольку и в компьютерную эпоху слово не только еще хранит всё это знание, но и пока наиболее «человеческообразно» отображает и толкует его; наконец, сам человек. Слово конституирует

Рукопись работы В. Н. Топорова «Знак и текст в пространстве и времени», стр. 5.

в пространства столь разной структуры, как, например, вся сфера гуманитарных наук, ближайшим образом ориентированная на слово или, по крайней мере, всегда переводимая на слово; вся сфера человеческого знания, поскольку и в компьютерную эпоху слово не только еще хранит всё это знание, но и пока наиболее „человеческообразно” описывает и толкует его; наконец, сам человек. Слово конституирует человека, и, если оно творческое, то оно становится личным знаком человека, его полномочным выразителем и представителем в знаковом мире. Без этого личного знака в принципе не может быть ни личности, ни подлинной внутренней свободы. Нередко же те, кто отчужден от творческого слова и живет в мире языковых суррогатов, инстинктивно чувствуют силу слова и поэтому сознательно и бессознательно творят насилие над ним, более того, стремятся слово сделать своим орудием – обесмыслить его, заразить духом вражды, превратить само слово в средство лжи и насилия над человеком. Напомню: наш язык стал гибнуть намного раньше, чем наши реки, озера, моря, леса и поля, и вот теперь, в худшей из своих ипостасей, он готов соучаствовать в погублении других языков нашей страны. Поэтому есть глубокий смысл в том, чтобы чаемое возрождение, как это ни трудно, начинать с языка, со слова, с его освобождения, потому что именно слово образует тот подлинный центр, в котором происходит развитие духа и открываются дотоле неведомые глубины его; потому что слово соединяет называющего (субъект) с называемым (объект); человека с тем, что ниже его (мир вещей) и что выше его (Бог); Я и другого, „свое” и „чужое”, прошлое и будущее; потому что оно учит преодолению тварности и объектности и ведет в открытый мир бытийственного. Это центральное положение слова и объясняемые из него его особенности позволяют ему выполнять и свои психотерапевтические функции. Слово – ц е л и т е л ь, потому что оно (как видно хотя бы из этимологии этого определения слова) дает возможность обретения целостности и целостности, слово для которых на и.-евр. горизонте обозначает з д о р о в ь е, то здоровье (физическое и духовное) которого нам так не хватает и которого мы тщетно взыскуем.

человека, и, если оно творческое, то оно становится личным знаком человека, его полномочным выразителем и представителем в знаковом мире. Без этого личного знака в принципе не может быть ни личности, ни подлинной внутренней свободы. Передом те, кто отчужден от творческого слова и живет в мире музыкальных сурнагов, инстинктивно чувствуют силу слова и поэтому сознательно или бессознательно творят насилие над ним, более того, стремятся слово сделать своим орудием — обезличить его, заразить духом вражды, превратить само слово в средство лжи и насилия над человеком.

Напомним: наш язык стал гибнуть намного раньше, чем наши реки, моря, леса и поля, и вот теперь, в худшей из своих историй, ^{сказ} ^{вн} ^{сущ} воевать в поцублении других языков нашей страны. Поэтому есть любимый смысл в том, чтобы такое возвращение, как это ни трудно, начинать с языка, со слова, с его освобождения, потому что именно слово обращает тот подлинный центр, в котором происходит развитие духа и открывается до того неизвестное глубины его; потому что слово соединит называющего (субъект) с называемым (объект); человека с тем, что ниже его (мир вещей) и что выше его (Бог); я и другое, "свое" и "чужое", прошлое и будущее; потому что оно учит преодолению тварности и объектности и ведет в открытий мир бытийственного. Это центральное положение слова объясняет из него его особенности позволяет ему выделиться и свои историко-религиозные функции. Слово — целитель, потому что оно (как видно хотя из ~~этимологии~~ ^{этимологии} этого определения слова) дает возможность обрести нас целостности и целостности, слово для которых на и-евр. горизонте обозначает здоровье, то здоровье (физическое и духовное), которого нам так не хватает и которого мы так жаждем.

Иногда кажется, что филолог, шавная охотница и радостница о слове, высоко ценя его и заслуженно гордясь им и заодно своими действительными успехами в его постижении, забывает о том, что

Рукопись работы В. Н. Топорова «Знак и текст в пространстве и времени», стр. 6.

Иногда кажется, что филология, главная опекунша и радетельница о слове, высоко ценя его и заслуженно гордясь им и заодно своими действительными успехами в его постижении, забывает о том, что слово не только объект, но и субъект, не подспорье мудрости, но сама Премудрость-София, что, наконец, хранить и изучать слово не то же самое, что быть словом, творить словом. При всей нашей преизбыточной осведомленности в том, что первично, а что вторично, все-таки едва ли разумно отрицать наличие и такого ракурса, где именно слово первично и определяюще. Я напомним о двух примерах – о возникшей за два тысячелетия до нашей эры мемфисской космогонической системе, в центре которой был бог Птах, точнее – его сердце и его язык, который только и мог реализовать скрытые в сердце помыслы и самим собою сотворить их в мире; и о блестящей глоссологической импровизации Андрея Белого на тему языка-органа речи как демиурга вселенной, творца знакового космоса и, следовательно, проводника нашего сознания и самосознания, одним словом, высшей сути человеческого духа. И уж едва ли нужно напоминать о том, что *В началъ бѣ слово, и слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ слово.*

То, что человек может обратиться к Богу (или – скажем в ином ракурсе, проще, но не лучше – к чистойшей и пока еще только чаемой части самого себя как нового человека), что оно соединяет в диалоге Бога и человека, и Бог обращается к нему со словом (*Слышите убо, народи Словѣньсти, | слышите слово от Бога бо приде... Слово готова вса Бога познати*, – как сказано в „Прогласе” Константина Философа), – всё это высший знак доверия к человеку, не оправдать которое – грех. Слово – тот мост, лестница или канат, по которым, если пользоваться устойчивой образностью от старых индийских мистиков и Мейстера Экхарта до Ницше, идет человек. Слово ответственно и, будучи сказано, оно связывает сказавшего. И в этом оно отлично от двух других членов триады – от мысли, которая невидима и неслышима и столь безгранично свободна, что может изменить любое своё решение, не будучи ничем связанной, кроме логики возможного, и от дела, которое видимо, потому что оно уже сделано, ситуация

сложена, шанс реализован и вопрос о свободе уже снят. И только слово – на той роковой грани между мыслью и делом, между многообразием возможностей и исчерпанием их в уже совершённом деле. Поэтому слово („слышимое слово”) не прихотливо своевольно, не разнообразно свободно, но единственно свободно (в отличие от мысли), и поэтому оно творящее, но это творение (в отличие от дела) не ведет к тварной тесноте и обуженности. Эта высшая свобода и это высшее творчество совокупно нашли себя в образе божественного воплощения слова, в Слове как личности, в логосном Слове-Премудрости. Учение о воплотившемся Слове и создание иконного образа Софии-Премудрости были ответом христианства и имманентному миру пантеистического эллинизма и трансцендентному миру монотеистического иудаизма. И в обоих случаях в самой сердцевине этого софийного творчества стоял Константин Философ, и эта – для нас тысячелетняя – традиция принесла богатые плоды в русской духовной культуре – вплоть до Вл<адимира> Соловьева, С. Н. Булгакова, Флоренского.

Слово человека идет вверх, к Богу. Эта направленность человека и его слова не только углубляет его возможности, переводя их в план самовозрастания, но и ограничивает человека в его отношениях к миру. Конечно, это творческое самоограничение только и делает возможным выработку Я, личного начала. В пределе Я есть Я настолько, насколько оно обращено к Богу, соотносено с ним, богоподобно, и это Я в своем движении вверх (или, если угодно, вглубь) не может объединиться с тем, что внизу, что ниже человека, с миром вещей. Но значит ли это, что вещи покинуты человеком, оставлены им на произвол, и отблеск человеческого уже никогда не коснется их? Этому вопросу уделяют мало внимания, а когда все-таки говорят об этом, то пафос даже великих религиозных учений чаще всего оказывается отрицательно направленным. Тем не менее отношение человека к вещам как к чему-то неизмеримо меньшему, простому и неодушевленному по сравнению с ним, можно думать предуказано (конечно, с соблюдением масштабов и учетом многого другого) божественным актом снисхождения к человеку, шагом навстречу к нему, сделанным до того, как человек

возжелал богообщения, умалением себя как знаком нужды Бога в человеке. Поэтому и для человека вещь – младший брат: не только *брат-волк* или *сестра-вода* св. Франциска, но далее и глубже – *брат-башмак*, *брат-стол*, *брат-карандаш*, *сестра-рубашка*, *сестра-постель*, *сестра-книга*. Человек судится и оценивается не только сверху, но и снизу, и человек должен испытать нужду и в том, что ниже его, в очеловечивании сущего на всех уровнях его развертывания. И в этом отношении (хотя мы часто склонны не замечать это) слово не просто наш первый помощник, исполняющий наше поручение, но такой почти тайный доброжелатель, который, нередко скрытно от нас, делает за нас нашу же работу. Слово освещает светом человечности вещь и вместе с тем судит ее с этой же точки зрения. Иногда оно насмешливо, иронично, язвительно, жестко и даже жестоко к вещи, но в других случаях оно открыто-приемлущее, доброжелательно, ласково, великодушно. К обеим безднам – верхней и нижней – направлено слово или точнее – человек-слово, и с обеих этих сторон должен он пытаться услышать возможное призывное слово, обращенное к нему самому.

И еще один аспект подлинного, полновесного, творческого слова – его потенциальность и вытекающая из неё всесильность слова, когда слово есть дело – и не только прошлое и настоящее, но и будущее; и еще – о суверенности такого слова. В поэтическом, религиозном, философском тексте слово может таким образом пресуществлять свою структуру, что благодаря этому снимаются ограничения, связанные с детерминистическим взглядом на мир, открывается возможность не только предвидеть будущее, но и предвосхищать и определять его, свободно искать связи в поэтическом пространстве данной традиции, не отменяя, тем не менее, постулата неисчислимости толкований такого слова. „Разве вещь хозяин слова? – спрашивал Мандельштам – Слово – Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает его, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела”. К сожалению, говоря о

возможном для слова в поэтическом тексте, обычно соизмеряют его с возможным во внеположенном мире, пренебрегая тем, что поэтический текст и его слово обладают той „чудовищно-уплотненной реальностью”, с которой не соизмерима реальность внеположенного мира, как она чаще всего понимается. Именно в силу этой высшей реальности слово преодолевает и направление потока времени и предназначенную ему пространственную прописку, даже последние авторские интенции, обретая „новые пространства и новые времена”, следовательно, и новые неожиданные смыслы. В семиотическом плане слово есть с и м в о л, и эта „символоносность” слова обеспечивает ему те уникальные возможности, о которых в свое время писал Чарльз Пирс: „Итак, способ существования символа отличается от способа существования иконического знака и индекса. Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие символа состоит в том реальном факте, что нечто определенно будет воспринято, если будут удовлетворены некоторые условия, а именно, если символ окажет влияние на мысль и поведение его интерпретатора. Каждое предложение – символ ... Ценность символа в том, что он ... позволяет нам предсказывать будущее”. Свойственное символу „истинно общее” относится к неопределенному будущему, потому что прошлое содержит только некую коллекцию таких случаев, которые уже произошли. Прошлое есть действительный факт. Но общее правило не может быть реализовано полностью. Это потенциальность: и ее способ существования – „esse in futuro”. Каким же будет это будущее, мы не знаем и можем строить только предположения, поневоле ограниченные частичностью нашего опыта – личного и коллективного. В этом смысле будущее открыто и свободно, и именно через эти атрибуты оно соединяется с соприсродным ему словом-символом. Для филологии нет основания быть скупым рыцарем: она, как и слово, должна быть открытой и свободной.

* * *

В оставшееся время я постараюсь (опуская многое) очертить круг моих занятий, которые так или иначе связаны со словом в его бытии, т. е. со знаком-словом во времени и пространстве.

Если говорить о языкознании или преимущественно о нем, то в связи с этой темой я бы выделил работы теоретической направленности и исследования практического в основном толка. К п е р в о й я отнес бы разработку общей проблемы лингвистического времени и более конкретно времени и пространства в языке прежде всего на материале взаимоотношений балт<ийских> и слав<янских> языков в их истории; анализ видов взаимодействия языков на уровне слов – элементарные заимствования и кальки, парадоксальные заимствования, которые оказываются более укорененными в данном пространственно-временном континууме, нежели тот язык, с точки зрения которого эти слова заимствованы (дополнительное описание сводилось бы к тому, что схема „берущий-дающий” выворачивается на изнанку, и „заимствования” оказываются исконным элементом, а мнимо „исконные” – заимствованиями), наконец, слово в связи с проблемой языковых союзов, когда при общей и унифицированной синтаксической схеме для контактируемых (в том числе и неродственных) языков вырабатывается также как бы общий словарь, но не в единственном варианте, – словарь (или язык) *à deux, trois* и т. д. *termes*. В связи с некоторыми из этих проблем (в частности, балто-славянской) возникают не раз парадоксальные ситуации, подобные тем, что известны из истории Эдипа (Эдип – сын и муж Иокасты, отец и брат своих детей и т. п.), и сигнализирующие о некоей чрезвычайной ситуации. К этому же теоретическому направлению относятся попытки проследить становление отдельных грамматических категорий в связи с ролью тела и его состава (проблема связи лексического с грамматическим, слова с морфологической функцией – вплоть до формирования „пракатегорий” в духе современной глоссогенетики). К о в т о р о й (в основном практически ориентированной) группе работ в области слова нужно отнести два больших цикла.

Один из них посвящен этимологии слов – балтийской, славянской, индоевропейской. В центре этих работ – определение семантической мотивировки слов, т. е. того ведущего смыслового принципа, который и объясняет, почему данная вещь обозначена так, а не иначе. По сути дела, результатом таких исследований оказывается определение, метафорой чего является данное слово. Беря вопрос с большей широтой, можно сказать, что этимологический словарь является (разумеется, с соответствующими поправками) коллекцией метафор данного языка, а классификация их открывает прямой путь как к поэтике того „творческого” периода, когда внутренняя форма слова была ясна говорящему, так и к существеннейшему слою, по которому можно судить и о менталитете носителей данного языка, и об устройстве основных блоков их модели мира. И хотя для решения многих проблем различие между „научной” и „не-научной” этимологией весьма важно, с точки зрения метафорики данной языковой традиции и для определения метафорических способностей человека (конструктивно-синтетических и разрешающе-аналитических) „не-научная” этимология – народная, поэтическая, онтологическая (или философская) – в известной мере не менее ценна, а иногда и более, потому что она идет изнутри традиции, не скрыта, а эксплицирована, выведена наружу, документально подтверждена, начиная с древнеегипетских трактатов, Брахман, Упанишад и Платона до Флоренского и Гейдеггера. Когда же составляются понятийно-этимологические словари, где дается набор разных возможных типов семантических мотивировок слов, обозначающих данное понятие, то в наших руках оказывается неоценимой важности материал для суждения обо всем (в идеальном случае) метафорическом пространстве, во-первых, и, во-вторых, о метафорической мощности, соответственно метафорической гибкости homo poeticus, определяемой количеством разных способов метафоризации одного и того же понятия (или непосредственно денотата). В известном смысле и „научная” этимология ценна не только своими „истинными”, последними решениями, но и, подобно „ненаучной”

этимологии, своими наборами вариантов семантических мотивировок, позволяющими судить об общем потенциале метафоризации, причем некоторые из этих вариантов могут быть реализованы.

Другой цикл практических исследований в области слова связан с топонимией и гидронимией и – шире – с именем. Здесь я прежде всего обозначу результаты, достигнутые рядом исследователей и относящиеся к обширной части Вост<очной> Европы, теперь занимаемой восточными славянами. На территории огромного треугольника с вершинами Псков (сев<еро>-зап<ад>), Ровно (юго-зап<ад>), Москва, точнее Коломна (вост<ок>) обнаружено не менее полутора тысяч гидронимов (иногда и топонимов) балтийского происхождения. Общее их распределение подчиняется закону соответствия степени густоты речных (водных) объектов, во-первых, и закону постепенного убывания данного типа по мере удаления от центра к периферии. Тем не менее за пределами этой территории, в Среднем (а иногда и Нижнем) Поочье и даже в верховьях Дона встречаются отдельные бесспорные балтизмы. Уже этих данных более чем достаточно для утверждения, что в период появления здесь первых славянских племен определяющим на этой территории был балтийский языковой элемент, который сохранялся кое-где и в начале I-го тысячел<етия> н. э., иногда, видимо, до XIII века (а, может быть, и позже). Наличие балтийского субстрата подтверждается негативно тем, что славянские названия характерны в основном для мелких речек, а позитивно наличием на этой территории нескольких сот балтийских по происхождению апеллятивов. Гóлядь на Протвѣ, к юго-западу от Москвы, дважды фиксируется Ипатьевской летописью – в 1058 и 1147 г., когда впервые была упомянута и сама Москва. В ближайшем Подмосковье известно до полутора десятков названий с корнем *Голяд-* (*Голацькие земли, Гóляди, Голядьянка, Голяжье* и т. п.); по огромной дуге, уходящей отсюда на юго-запад вплоть до Рóвенщины, обнаруживается ещё столько же примерно подобных названий, родственных этнониму *галинды* и их земле Галиндии (в Вост<очной> Пруссии). Эти этнонимические названия, в том числе и личные имена, ведут

исследователя и в далекое прошлое и в совсем недавнее. Упомянутые еще во II в. н. э. Птолемеем Γαλίνδαи оставили свои следы не только к востоку вплоть до Подмосковья, но и далеко к западу. В эпоху великого передвижения народов и даже раньше подхваченные вестготами, а затем бургундами и вандалами, галинды совершили огромный путь, всюду оставляя свое этнонимическое имя – на сев<ерных> склонах Карпат и в Судетах, на юге Франции (в Картуларии аббатства Saint-Sernin de Toulouse, между 844 и 1200 гг. шесть раз появляется имя *Galindus*), в Испании и Португалии, особенно на сев<еро>-зап<аде> их, где корень *Galind-* встречается многие десятки раз, и не приходится удивляться, что сподвижником Сиды оказывается удалой копейщик *Galind Garçiaz el bueno de Aragón*. Но и недавняя история не менее увлекательна. Недалеко от Пинска и Достоева, где родился отец писателя Михаил Андреевич, было несколько “голядских” названий (юго-зап<адный> конец дуги). На противоположном сев<еро>-вост<очном> конце этой дуги, под Зарайском, недалеко от Дарового, имения, купленного Михаилом Андреевичем, где проводил свое летнее время ребенком будущий писатель, также расположено несколько названий с корнем *Голяд-*. Трудно поверить, что Федор Михайлович мог пройти мимо этого совпадения, возвращавшего его к его собственному детству. „Дурашка ты этакой, Голядка ты этакой – фамилия твоя такова” в „Двойнике” едва ли не воспоминание о своем детстве и об отце. И кто поручится, что *Голядка ты этакой* не было ласкательным обращением в семье Достоевских в еще относительно благополучные месяцы жизни в Даровом? Во всяком случае голядкинская тема – сугубо интимная и, видимо, автобиографическая для Достоевского. Апогей „Двойника” – приход Голядкина в дом Берендеева, отца Клары Олсуфьевны, и скандал, окончившийся изгнанием Голядкина. Это соседство Голядкина и Берендеева, пусть краткое и неудачное, более того, кажущееся нарочитым и несколько идеологизированным (слабое и бедное „свое” – помпезное и надменное „чужое”), могло бы получить объяснение в свете фрагмента из книги И. М. Снегирева о Москве, правда, изданной позже: „Живые урочища вокруг Москвы *Голядь* и *Голяди́нка* и *Берендеево*, без сомнения, произошли от

Голядов и Берендеев” (Напомню, что Михаил Андреевич был добрым знакомцем Снегирева и бывал у него дома, благо они жили неподалеку друг от друга, где Снегирев, ходячая энциклопедия Москвы, любил рассказывать гостям и московские древности и последние московские новости). Впрочем, есть и другие, более старые документы о смежности в Подмоскowie *Голяцких земель (Гóляди)* и *Берендеева стана*.

Но, конечно, воспоминаний о балтах, дошедших до наших дней, гораздо больше. Всех их не перечислить, и потому лишь несколько на выбор (к теме дружбы народов): в СРНГ 17, 71, 73, 156 – из статьи *Литва. Бранно: Эй, литва поганая!* (обращение мальчишек к косцам, коренным русским, живущим на западном берегу Упы); из статьи *Литовский. Бранно: Ией, литовские люди, съели хрен на блюде*; из статьи *Лóтва. Шутливо или бранно: Лóтва некрещеная!*, также – ‘буйное сборище’; СРНГ 16, 293: из статьи *Латыш: Ни одного слова от ево, что он говорит, не поймешь, словно латыш какой*, также – ‘человек, плохо выговаривающий слова по-русски’; ‘бестолковый человек’; из статьи *Латышáла* – ‘человек, которые латышает – картавит, неразборчиво произносит слова’; и еще в начале XVII в. у Ричарда Джемса: “*lattuish*” (т. е. латыш): “Они сами хорошенько не знают, почему так говорят: употребляется это слово неодобрительно. Одни говорят, что оно обозначает язычника, некрещеного человека, а таковыми они считают всех, кроме себя. Другие говорят, что это слово обозначает человека, не умеющего говорить на их языке, так, например, малым ребятам они говорят иногда: *Lattish ne umiat govorait*”, еще раньше у Фенне: *latisch* ‘undutscher’; из рассказа Куприна „Мелюзга”: „... в стороне ... затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях Куршей-головатой и Литвой-некрещенной” и т. д. и т. п. Примеры печальные, но поучительные, а как свидетельства, несомненно, ценные, хотя анонимные примеры еще ценнее. Фактов, свидетельствующих о пребывании балтов на этой террит<ории>, в избытке, и поэтому испытываешь особое удовлетворение, когда, положив на карту все примеры *Химок* (начиная от подмосковных) и *Химий*, *Химеек* и *Химян*, наконец достигаешь Прибалтики, где все эти названия

получают естественное объяснение своей форме и раскрывают свой до того неясный смысл (лит. *kìminas* ‘мох’), который вдруг открывается и в многочисленных названиях-сателлитах – *Мховках*, *Мошонках* и т. п.

Слово, имя, название в подобных случаях становится ключом не только к языку, но и к истории. Польск. *Krzna*, назв<ание> реки, из ятв. *Kirsna* ‘черная’ дает возможность расширить ятвяжскую территорию сильно к югу и более непосредственно почувствовать основу волынско-ятвяжских взаимоотношений. Когда подобных языковых фактов накапливается много, вдруг начинают замечать, что *кривичи* не входят ни в один летописный список славянских племен; что еще в начале XII в. как-то помнили об их не вполне славянской генеалогии; что, оказывается, их путь с запада на восток вдоль Зап<адной> Двины вплоть до границ теперешней Московской области, а далее и до самой Москвы, через которую проходила кривичско-вятичская граница, может быть прослежен; что балтийское прошлое кривичей подтверждается и рядом других фактов. Второй более поздней волной, проделавшей отчасти тот же маршрут, были латгалы, о которых в последнее время собрано много фактов, позволяющих говорить не только о псковских, но и новгородских и смоленских латгалах. Но если в этих местах речь может идти об анклавах, то вся русская территория к западу от линии Псков-Опочка-Полоцк (а по В. В. Седову, и бассейны Великой и Ловати) была некогда, несомненно, латгальской, о чем говорят топонимия, и этнография, и археология (это как раз ареал длинных курганов, так наз. “велетóвок”), и даже недавняя история (ср. мемуары Н. В. Волкова-Муромцева, в частности, воспоминания о его детских впечатлениях от латгалов в Опóчецком уезде). Сейчас не нужно быть пророком, что бы утверждать, что в ближайшие 10–15 лет наши взгляды на историю сев<еро>-зап<адной> Руси (Пскова, Новгорода, Полоцка) изменятся весьма кардинально. Вероятно, еще раньше состоится аналогичное событие в понимании языковой картины этой территории на рубеже I и II-го тысячел<етий> н.э., когда, наконец, будет по достоинству оценена роль зап<адно>-славянской (вероятно, из низовьев Вислы) и балтийской миграции

на Северную Русь. Исследования А. А. Зализняка заложили основы для воссоздания новой картины, но и многие другие факты, пока еще существующие порознь и несколько хаотически, готовы уже склудиться в нужном месте. И связь былинной бабы Латыгорки с лтш. *Lethegore* у Генриха Латыша, совр. *Lēdurga*, может, не покажется особенно странной, как и отчетливые, показанные ещё В. Ф. Миллером, привязки Святогора к прибалтийско-русской зоне.

Об имени собственном приходилось писать и в теоретическом плане (природа имени, степень ономастичности, анализ текстов, в которых ключевые слова допускают двоякое понимание их – и как Nom. рг. и как апеллятив, роль имени собственного в мифологической традиции и т. п.) и в практическом. Личное имя в определенном типе культуры, независимо от того, выделяет оно человека среди других или, напротив, включает его в некое целое (ср. документальные свидетельства типа: у Ивана Петрова четыре сына – Иван, Иван другой, Иван то ж и еще Иван...), что угодно, но только не произвольный знак, не внешнее (ср. этимологию и.-евр. слова для имени, подчеркивающего идею в н у т р е н н е г о его статуса), не второстепенное, но глубоко укорененное в самой сути носителя имени, более того, сама суть, которую по имени можно открыть, и одновременно предписание, программа, вытекающая из принадлежности ко всей череде соименников вплоть до первого носителя этого имени, ориентир в жизненном пространстве. Роль прецедента для мифопоэтического сознания определяющая, и периодически оно возвращается в тому, что было „в первый раз”, к сакральному пространственному центру, к отмеченной временной точке, когда совершилось первособытие-творение, к образцу того, кто был там и тогда главным действующим лицом совершающегося – к самому демиургу или к его последующим всё более и более оплотняющимся, но все еще несущим на себе отблеск священного двойникам с уже дифференцированными именами. Каждый родившийся ребенок по идее – перворожденный; каждая пара, вступающая в брак, – участники первой иерогамии; и каждый умерший – образ первого покойника. Мифологические и фольклорные и даже обрядовые тексты, связанные с совершенно

конкретными людьми, оказываются минимально свободными в выборе имен или, по крайней мере, в подверстывании их к носителям „первоимен”. Разные жанры русских народных текстов поражают концентрированностью некоторых из них – Илья, Сидор, Карп, Пахом, Семен, Маланья, Матрена, Прасковья и т. п., которые, как показывают и внутренние данные (в частности, многочисленные фразеологизмы, в которые входят эти имена) и результаты более глубокой реконструкции, не что иное как разные сниженные (иногда комически травестированные) образы главных персонажей так наз. «основного мифа», в восстановлении которого как раз имена его персонажей сыграли основную роль.

Выше говорилось о значении топонимии и гидронимии для восстановления исторического прошлого. Но такова же роль и имен мифологических персонажей. Анализ имен богов пантеона князя Владимира показателен в высшей степени. Три имени стоят особняком – Перун, Волос-Велес (в списке 980 г. неслучайно отсутствующий) и Мокошь. Их укорененность в Сев<ерной> Руси очевидна: в Киеве Перун прежде всего бог княжеской дружины, а Волос-Велес, похоже, несколько еретичен даже для официального языческого сознания. Не случайно также и то, что именно эти три божества и эти три имени находят ближайшие параллели в балтийской мифологии. Имена остальных богов Владимирова пантеона, несмотря на инославянские параллели для двух из них, отражают совершенно иную ситуацию.

За ними легко угадываются иранские (или индо-иранские) прототипы. Имя Дажбога равным образом отвечает двум типовым индо-иранским мотивам: с одной стороны, ср. вед. *daddhi bhāgām* ‘дай долю /богатство/’, с другой, *dadāti (dāti) & Bhāga* ‘дает Бхага (бог богатства, доли)’, точно соответствующие имени Дажбога. Это сопоставление не только позволяет определить в качестве отдаленного источника Дажбога мифологизированную фигуру даятеля (распределителя) благ, к которому обращаются с соответствующей просьбой – в ритуале, в молитве, в благопожеланиях (*дай, Боже!*), и одновременно воплощенное и овеществленное даяние Бога, дар, но и сам языковой локус возникновения

этого теофорного имени. Примерно то же можно сказать и об имени Стрибога, находящем себе соответствие в индо-иранском сочетании глагола *star-/str* и того же элемента *B(h)aga-* в значении ‘распространять долю, богатство’. Специфика этих двух теофорных имен в том, что они, будучи вполне славянскими по своему составу, вместе с тем могут пониматься как такие к а л ь к и с иранского, в которых оба члена в каждом из этих двух названий оказываются и г е н е т и ч е с к и идентичными соответствующим иранским элементам.

Два других имени в пантеоне иного рода: они откровенно не свои, „чужие”, их появление в Киеве в конце X в. может показаться очень странным, но именно эта странность (речь идет о Хорсе и Симаргле) и дает возможность проникновения в удивительную этнокультурную панораму Киева той эпохи. Тема „западного” Хорса сулит наибольшие результаты в культурно-историческом аспекте исследований русско-иранских контактов. Иранская этимология этого имени известна давно (ср. авест. *hvarə xšaētəm*, о сияющем солнце, перс. *xuršīd* и под.), но непонятно, почему возникла проблема введения в киевский пантеон чужого бога солнца (наряду со своим – Дажбогом; кстати, и в летописном списке они стоят подряд, в отличие от других богов не отделенные друг от друга точкой), как и непонятно место Хорса в списках (почти всегда этот пришелец соседствует с Перуном, возглавителем пантеона). Чужость Хорса иногда подчеркивается открыто, ср. *Хорса жидовина* в „Беседе трех святых”. Эта ситуация, касаться которой подробно здесь я не намерен, естественно объясняется из целого ряда разрозненных и ранее известных фактов, которые теперь сфокусировались благодаря находке т а к > наз < ы в а е м о г о > „Киевского письма”, написанного в самом начале X в. (т. е. до захвата Киева князем Игорем и утверждения там этой династии) на чистом раввинистическом еврейском языке. Общая картина рисуется следующим образом – власть в Киеве принадлежит хазарам (ср. Козаре, Пасынча бесѣда, Копырев конец и друг < и е > следы хазар в Киеве); как обычно, военный гарнизон у хазар составлен из воинов-хорезмийцев. Аль Масуди говорит о предводителе войска по имени *Aḥmadu ’bnu*

Kūyah (Ахмад, сын Куи). Должность была наследственной, и можно думать, что Ахмаду на этом посту предшествовал его отец *Kūya* (начало X в.), чье имя этимологически точно отвечает имени *Kya*. Наиболее почитаемым божеством хорезмийцев был Хорс, и само название Хорезма, по крайней мере, в народной этимологии, толковалось как “солнечная земля” (тут же можно напомнить и об исключительной роли иранского Симурга-Симаргла, который при Сефевидах стал государственной эмблемой Ирана). Из всех торгово-экономических связей Киевской Руси с Востоком в это время бесспорно главной была связь с Хорезмом. В шатких условиях второй половины X в. включение Хорса (как и Симаргла) в киевский пантеон естественнее всего объяснять дипломатическим искусством компромисса, которым, несомненно, обладал князь Владимир. Хорс не только был включен в пантеон, но и как бы уравнен с Перуном, хотя официально эта ситуация сохранялась не более восьми лет, когда, приняв крещение, Владимир нашел более устраивающий его компромисс. Хорс разделил судьбу остальных языческих богов, но его культ некоторое время продолжал существовать в прикровенном виде, но слово *хорошо*, видимо, хранит память об этом божестве. За этими примерами, когда имя мифологического персонажа выступает как инструмент исторического исследования, не следует забывать еще более важные, можно сказать, основоположные принципы, имеющие прямое отношение к имени, слову, языку: о соотношении мифа и ритуала как слова и делания (делания священным – *sacrificium*) и о мифе как болезни языка, т. е. явлении, в своей основе языковом.

Поскольку время мое истекло, я должен или замолчать или, если будет угодно снизойти к моему неумению распоряжаться временем, в течение нескольких минут тезисно изложить отражение темы моего выступления в работах, условно говоря, литературоведческого цикла. Здесь я выделил бы несколько направлений, практически не раз пересекающихся друг с другом.

- I. Теория текста и поэтики. Понятие структуры текста (пространство текста и текст пространства). Проблема интертекст-

туальности, диалога текстов, „мирового поэтического текста”, „чужого” слова.

- II. „Начала” и проблема реконструкции текста. Мифопоэтические основы „пред-поэзии” в ряду других „начал” – пред-философия, пред-логика, пред-история, пред-право, пред-медицина. „Пра-поэт” и его функции: ритуальный локус его. Индоевропейский поэтический язык и его реконструкция до уровня конкретных текстов, их фрагментов и общих схем на материале древних традиций (ведийской, авестийской, хеттской, древнегреческой, италийской, армянской, балтийской, славянской). Исследования в области реконструкции древнейших типов организации текстов (вопросо-ответный, диалогический /прения/, восходяще-и нисходяще-ступенчатый, числовой, „тетический” /текст о „началах”/ и т. п.). Проблема универсального фольклорного „единого состава”, природа жанров и их трансформаций.
- III. Звук и смысл. Анаграмма и ее функции в разных типах текстов (ритуальные, фольклорные, художественно-литературные). Трактовка анаграммы как инструмента проверки связи между означаемым и означающим (если говорить о внутри-текстовых отношениях) и между текстом и достойным его, читателем или слушателем, выступающим как дешифровщик криптограмматического уровня текста (если говорить о прагматическом аспекте семиотического исследования). Проблема метаязыковой функции с маскировкой обеих указанных связей.
- IV. Тексты (и литературы) в их взаимосвязи. „Parallelenjagd”, поиски соответствий, параллелей, аналогий, подтекста, оценка их „сознательности” и степени „случайности-неслучайности”. В этой области, часто недооцениваемой и просто пренебрегаемой, и вместе с тем настолько важной, что она стала исходным пунктом и основой всей проблемы интертекстуальности, накоплен уже немалый опыт. Исследования этой темы на материале Ахматова – Данте; Ахматова – Нерваль, Ахматова – Элиот и их результаты были с высокой степенью доказательности подтверждены позже ставшими известными свидетельствами самой Ахматовой, мемуарной литературой и анализом отметок

на полях в антологии итальянской литературы, принадлежавшей Ахматовой. Сюда же относятся заметки по акмеистической цитате; работа о перекличках (притяжениях и отталкиваниях) между поэзией Ахматовой и Кузмина; книга о поэтическом диалоге Блока и Ахматовой, парадоксально выстраиваемом последней таким образом, что первый голос принадлежит Блоку непосредственно, а второй – ему же, но опосредствованно – блоковские слова в устах Ахматовой; если это конструкция является, по сути дела, „псевдиалогом”, оправдываемым тем, что „в начале” все-таки был реальный диалог – обмен двумя стихотворениями на рубеже 1913–1914 гг., то поэтический диалог Ахматовой и Мандельштама и вполне реален и достаточно обширен; он демонстрирует новую поэтическую конструкцию такого объединения двух голосов, о котором знают только участники этого диалога или специалисты-литературоведы и самые искусные читатели, открывающие этот диалог не сразу, по частям, постепенно и тем самым обучаясь тайнописи поэтов. В этой же серии – две монографии: п е р в а я – „Еще раз о связях Пушкина с французской литературой (Лагарп – Буало – Ронсар)”, где на основании черновых заготовок Пушкина восстанавливается некий его „Urtext” о французской литературе, прослеживаются его ближние (Лагарп, Балланш) и дальние (Буало) истоки и вскрывается “тайный” ронсардовский или “ронсардизирующий” слой пушкинской поэзии; и в т о р а я монография о Пушкине и Голдсмите в контексте русской Goldsmithiana’ы (о “невидимой” и опосредствованной части голдсмитовского слоя в двух текстах 1817–1819 гг.). Сюда же примыкает и заметка о перекличке Пушкина с Проперцием в одном важном для обоих поэтов мотиве. Из других работ в этой области назову – о Батюшкове и Парни, о Тютчеве, немецких романтиках и Шеллинге; о Пастернаке и Гельдерлине („морской” мотив в „Разлуке” и в „Соснах” на более широком фоне”) и др. Наконец, методологически важным считаю рассмотрение двух как бы „знакомых” друг с другом текстов – при том, что твердо известно, что авторы их даже не знали друг о друге

(„Два дневника: Андрей Тургенев и Исикава Такубоку”). Сложнее и поэтому теоретически интереснее другой случай – когда исследователь не знает, читал ли один из сопоставляемых авторов другого, и, следовательно, не являются ли найденные сходства псевдосоответствиями. Ситуации этого рода встречаются все чаще и чаще и не должны игнорироваться, но место им не в том разделе литературоведения, который занимается рецепциями и влияниями, но в той особой и практически пока не созданной дисциплине, которая имеет дело со структурой человеческого духа, как он проявляется в конструировании сходных текстов. При таком подходе центр внимания перемещается. Важно не то, что у писателя А и писателя В обнаруживаются в их текстах „сходные” элементы x_1 и x_2 , но наоборот, исходным объектом становится X, реконструируемый на основании x_1 и x_2 , а писатели А и В могут оказаться не более чем случайными носителями отражений этого X. Иначе говоря, внимание со структуры текстов, содержащих „сходные” элементы, и с авторов в их предполагаемых взаимоотношениях переходит на структуру „текстового” бытия, т. е. на то, насколько весь текст однороден или разнороден, в каких его местах возникают повторения и какие условия сопутствуют появлению сходств.

- V. Конкретные анализы структуры текста (ряд древнерусских текстов, о которых ниже, Петр Буслаев, Третьяковский, М. Н. Муравьев, Андрей Тургенев, Жуковский, Батюшков, Тютчев, Анненский, Вячеслав Иванов, Ремизов, Кондратьев /книга о русском неомифологизме/, Иван Игнатов /Дмитрий Евгеньевич Максимов/, но прежде всего – Достоевский – из русской литературы; из западной и восточной – гимны Ригведы, заговоры Атхарваведы, загадка жанра брахмодья, Катха-Упанишада, Дхаммапада, „Царь Эдип” Софокла, римская тема у Вергилия, Мейстер Экхарт, Дю-Белле, Верлен, Рильке, Йейтс и др.). Сюда же можно отнести и некоторые специфические случаи – анализ-дешифровка глоссолалического непонятного текста, имевшего хождение в начале XIX в. в мистическом кружке

Ек<атерины> Фед<оровны> Татариновой и среди хлыстов (А писано тамо: |“Савишраи само Капиласта гандря | Дараната шантра | Сункара нуруша | Моя дева Луша”) и оказавшегося санскритоязычным и даже „обобщенно”-осмысленным („[Нашли они книгу... А писано тамо:] Се дом блага и песни. | В Капилавасту пришел | Защитник прибежища, принес в жертву | Состав человека. | Божественная сила на небе сияет”). Подобные опыты „говорения языками” небезнадежны с точки зрения поиска в них смысловых блоков и поэтому представляют собой ценный материал, при условии его дешифровки. Второй вариант специфических текстов связан с некоторыми индексами-доминантами, разбросанными по разным текстам, но в совокупности составляющим единый (для данной эпохи, традиции, направления), но как бы прерывистый текст. Два примера такого рода – возрастная константа 26–27 лет и имя *Лиза* в русской литературе. Анализ показывает, что такой текст осмыслен не только в тех частях, которые предполагают историко-литературную преемственность, но и в остальных, как бы совершенно случайно сопоставляемых друг с другом. И в этом последнем случае – общий смысл, некое слабо организованное семантическое целое индуцирует смысловой слой и в разрозненных частях. И, наконец, третий специфический случай – то, что можно назвать „сверхтекстами”. Из сделанного в этой области упомяну большую работу, опубликованную лишь частично, „Петербургский текст русской литературы” и анализ т. наз. „текстов города” – или отдельных городских урочищ („Аптекарский остров” в Петербурге и „Девичье поле” в Москве) или городов в целом (работы о тексте города-девы и города-блудницы на библейском материале и о Вильнюсе в его мифологизированной перспективе). Исследование таких „городских” текстов, т. е. единого текста для каждого из имеющих его города, представляется существенным поскольку вскрывает механизм создания индивидуально-личной, а потом и коллективной „поэтосферы”, в которой пространство, стягивая к себе разновременные события, как бы

навивает на себя ту ткань культуры, которая и составляет ноосферу. Особое место в этой теме „городского” текста занимает подготовленная работа под названием “Русская стихотворная эпитафия по материалам московского и петербургского некрополя”, включающая в себя как сам материал, так и его исследование.

VI. И последнее – опубликованные части книги о русской духовной культуре⁶, в каждой из которых сочетаются исследование текста, посвященного данному персонажу или написанному им, анализ ведущей макроидеи текста или соответствующей фигуры и, наконец, опыт восстановления внутреннего мира главного действующего лица текста или субъекта-автора его. Из этой книги, внутренне связанной для меня с тысячелетием христианства на Руси и являющейся моей попыткой ответа на вопрос *Но кто мы и откуда, | Когда от всех тех лет, | Остались пересуды, | А нас на свете нет*, пока опубликованы четыре довольно больших части. Первая – «Слово и Премудрость (“логосная структура”): “Проглас” Константина Философа». Вторая – «Работники одиннадцатого часа – “Слово о законе и благодати” и древнекиевские реалии». Третья – «Идея святости в Древней Руси: *Вольная жертва* как подражание Христу – “Сказание о Борисе и Глебе”». Четвертая – «Труженичество во

⁶ Первый том труда «Святость и святые в русской духовной культуре. Первый век христианства на Руси» вышел в 1995 г. (М. – 874 с.), второй в 1998 г. (М. – 864 с.). Об обоих здесь говорится в будущем времени. В первый том вошли следующие работы, опубликованные ранее: Топоров 1988а: 1–80; Топоров 1988b: 1–127; Топоров: 1989: 1–100; Топоров 1992: 95–209; Топоров 1993: 1–160; «Сергий Радонежский» вошел во второй том. Это дает основание считать, что публикуемый текст был написан не ранее 1993 г. и не позже 1995 г. С той оговоркой, что вообще среди перечисленных ВН работ есть опубликованные, есть ждущие публикации и есть те, что были в планах, ближних и дальних – «сесть и написать», как говорил их автор. Не все осуществилось, многое так в планах и осталось. Здесь мы не проводим библиографическое расследование для установления истины (опираясь на часто повторяемое Ахматовой выражение И. Бродского «главное – величие замысла»).

Р.С. И при всей неопределенности примечательно, что известна не только дата, но и час окончания этого труда: «В 4 часа ночи закончил Прилож<ение> V. к 2му тому “Святости”. Конец работы». – Запись из путевого блокнота: Венеция, 10 апреля 1998 г.

Христе (творческое собирание души и трезвение). I. Феодосий Печерский и его “Житие”» (продолжением этой части будет работа о Сергии Радонежском). Предполагается публикация еще 6–7 частей (некоторые из них частично подготовлены)⁷.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Григорян А., Завьялова М. В., Цивьян Т. В. 2015. Владимир Николаевич Топоров (5 июля 1928, Москва – 5 декабря 2005, Москва). Отечественные лингвисты XX века. М.: РАН ИНИОН (в печати).
- Топоров В. Н. 2006. Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) / Сост. Г. Г. Грачева; вступительная ст. В. В. Иванова и Н. Н. Казанского. (Материалы к биобиблиографии ученых. Литература и язык. Вып. 28). М.: Наука.
- Топоров В. Н. 1988а. Слово и Премудрость («логосная структура»): «Проглас» Константина Философа. – *Russian Literature*. Vol. 23. № 1. С. 1–80.
- Топоров В. Н. 1988б. Работники одиннадцатого часа. «Слово о законе и благодати» и древнекиевские реалии. – *Russian Literature*. Vol. 24. No. 1. P. 1–127.
- Топоров В. Н. 1989. Идея святости в Древней Руси: Вольная жертва как подражание Христу – «Сказание о Борисе и Глебе». – *Russian Literature*. Vol. 25. No. 1: Special Issue. *The Millennium of Christianity in Russia*. III. С. 1–100.
- Топоров В. Н. 1992. Труженичество во Христе: Творческое собирание души и духовное трезвение: I. – *Russian Literature*. Vol. 32. No. 2: Special Issue. *The Millennium of Christianity in Russia*. IV. С. 95–209.
- Топоров В. Н. 1993. Труженичество во Христе: Творческое собирание души и духовное трезвение: II. – *Russian Literature*. Vol. 33. No. 1: Special Issue. *The Millennium of Christianity in Russia*. V. С. 1–160.

⁷ Благодарим М. М. Макарецва за сканирование текста.